Карен СТЕПАНЯН, кандидат филологических наук

# ТАК КТО ЖЕ БОИТСЯ ДОСТОЕВСКОГО?

*В нынешнем году отмечается 160 лет со дня рождения и 100 лет со дня смерти классика русской литературы Ф. М. Достоевского. В ознаменование Международного года Достоевского, по решению ЮНЕСКО, во многих странах мира организуются конференции, «круглые столы», симпозиумы, выставки, публикуются газетные и журнальные статьи, монографии. К сожалению, в издаваемых на Западе работах, посвященных Достоевскому, идейное и творческое наследие великого писателя-гуманиста зачастую оказывается искусственно обедненным или искаженным в угоду разного рода антисоветским концепциям либо подгоняется под фрейдистские, структуралистские и иные схемы.*

ТВОРЧЕСТВО Достоевского не укладывается в академически спокойный ряд «классического наследия»: каждая строка его, каждое слово будто рождены в эпицентре яростных катаклизмов нашего времени и обращены прямо к нам, несмотря на солидные юбилейные даты. И потому не вызывает удивления, скажем, юбилейная статья под заголовком «Терроризм по Достоевскому» в газете «Коррьере делла сера», в содрогающейся от треска автоматных очередей наемных убийц и взрывов пластиковых бомб Италии.

Словом, «Достоевский—наш современник», как озаглавлен юбилейный разворот в июльском номере газеты «Монд».

Однако далеко не все и не всегда в грохоте нашего бурного времени умеют—или хотят—правильно расслышать и правильно понять это обращенное к нам слово Достоевского.

Достоевский—могучий союзник, и иметь его на своей стороне баррикад в яростных идеологических схватках современности хотелось бы многим. Слово же, на первый взгляд, беззащитно, его можно истолковать и так, и этак. Но слово, в котором заключена истина, обладает стальной прочностью. Попытки «нагнуть» его в ту или иную сторону оборачиваются плачевно: распрямившись, оно больно бьет по истолкователям-манипуляторам.

«КТО БОИТСЯ Достоевского?» — под такой «шапкой» французский журнал «Нувель обсерватер» опубликовал обширную подборку материалов, посвященных юбилею писателя. Одна из основных статей здесь принадлежит перу Ж. Катто и снабжена патетическим заголовком «Свободу ему!». Монография Ж. Катто «Литературное мастерство Достоевского», вышедшая недавно в Париже, получила положительную оценку в советской прессе. И, право, трудно поверить, что упомянутая статья написана тем же автором.

Признавая, что в СССР «национальное наследие остается неотъемлемой частью социалистической культуры», Ж. Катто неожиданно делает весьма забавное (иначе не скажешь!) заявление: «Пушкин, Гоголь, Тургенев, Толстой... — высокочтимые святыни, на которые сегодня осмеливаются посягать лишь диссиденты». А исключение, оказывается, составляет в этом списке лишь Достоевский. Почему же?

Во-первых, Достоевский... предатель. Фурьерист, приговоренный царем к смертной казни, он вернулся с каторги с антиреволюционным манифестом — «Записками из подполья» (вероятно, апологетикой царского режима, если следовать логике? И как же тогда быть со знаменитым: «считаю себя всех либеральнее, хотя бы по тому одному, что совсем не желаю успокаиваться»?).

Затем он —«грозный и опасный публицист», чьи статьи, по ироническому совету Ж. Катто, советским людям лучше не читать (несмотря на то, добавим от себя, что они есть во многих библиотеках и частных собраниях, а ныне полностью выходят в академическом тридцатитомном собрании сочинений писателя).

Ну и наконец, романы Достоевского опасны тем, что представляют собой «лаборатории свободы». Определение, не лишенное эффектности (хотя тут вспоминается ироническое замечание Достоевского: «Это чтоб нам без блеску, эффекту, это нам никоим образом невозможно»). Но что под этим подразумевается? А вот что: читая Достоевского, нельзя понять, кто «берет у него верх»: Ставрогин, Кирилов или Шатов, Иван, Алеша или Дмитрий Карамазов? (Ну действительно, никак ведь не понять: не на стороне ли Достоевский Ставрогина? или Свидригайлова? или Гани Иволгина? а может, Ракитина и Смердякова?) Тем самым Ж. Катто, вряд ли сам того желая, начисто лишает романы Достоевского... художественности. Ибо, как утверждал сам писатель, «художественность... есть способность до того ясно выразить в лицах и образах романа свою мысль, что читатель, прочтя роман, совершенно так же понимает мысль писателя, как сам писатель понимал ее, создавая свое произведение». Впрочем, добавлял Федор Михайлович, «неясность не всегда происходит от того, что писатель неясен, а иногда и совсем от противоположных причин...»

Короче, Достоевский, делает вывод Ж. Катто, «мешает». Вот только кому? Попытаемся ответить на этот вопрос чуть позже, а пока остановимся на других западных публикациях, посвященных юбилею.

КАРТИНА, если верить некоторым западным изданиям, получается печальная.

«Россия отмечает его столетие, но книги его по-прежнему трудно достать», — гласит подзаголовок статьи в «Интернэшнл геральд трибюн». Достоевский до сих пор еще преследуется советскими властями, пугает О. Пас в испанской газете «Паис». И даже «смех Достоевского», оказывается, в России «никогда не встречал того отклика», который рождает он у одного из авторов «Монд». В общем, как заявлял несколько лет назад в своей книге «Образ Достоевского в сегодняшней России» В. Седуро, «день реабилитации Достоевского на его родине еще не наступил», ибо его творчество не вмещается в прокрустово ложе марксистского понимания искусства, согласно которому реализм есть лишь зеркальное отражение действительности (?!). Посоветуем попутно В. Седуро получше разобраться в марксистской эстетике и предложим ему и его коллегам небольшую «информацию к размышлению».

Как же быть с более чем 31 миллионом (!) экземпляров произведений Достоевского, вышедших в нашей стране за годы Советской власти? Как быть с титаническим трудом большого коллектива ученых и издательских работников, осуществивших уже на две трети не имеющее себе равных в мире издание полного академического собрания сочинений писателя? Как быть с тремя томами «Литературного наследства», посвященными Достоевскому и впервые вводящими в научный обиход бесценный архивный материал (эти тома сейчас активно переводятся и издаются на Западе, встречая огромный интерес подлинных исследователей творчества русского классика)?

Впрочем, ответа мы вряд ли дождемся, а потому продолжим наш обзор.

ЕСЛИ авторы публикаций в периодике, руководствуясь своеобразно понимаемой «злободневностью», склонны «забывать» об объективности, то, видимо, иного следует ожидать от серьезных научных исследований, монографий, статей. Надо признать, некоторые из них оправдывают эти ожидания.

**В США вышла работа Дж. Кэбета «Идеология и воображение. Образ общества у Достоевского».** Основная цель монографии — сопоставление художественного и публицистического наследия писателя.

По ходу исследования Дж. Кэбет делает ряд интересных и довольно неожиданных наблюдений. Он находит «общие точки» у Достоевского с учением К. Маркса: критика буржуазной республики, отчуждающей и разрушающей человеческие отношения власти денег и, главное, понимание того, что буржуазия сама создает предпосылки собственной гибели.

К сожалению, с главной целью работы Кэбету, на мой взгляд, справиться не удалось, — видимо, потому, что неверна исходная посылка: конечно же, никакого «разрыва» между художественным творчеством и публицистикой Достоевского нет, все это создано одним человеком — художником и мыслителем. Задача заключается в том, чтобы при кажущейся несхожести выявить здесь общую основу чего Кэбет сделать не сумел.

**Отличительной чертой книги Кэбета является широкое обращение к трудам советских исследователей. Надо отметить, что если раньше в зарубежных работах о Достоевском упоминалась лишь монография Бахтина, то ныне положение изменилось:** использование исследований Г. Фридлендера, В. Кирпотина, Б. Бурсова, А. Долинина, В. Нечаевой и других советских ученых становится обязательным.

Сказанное относится и к работе Р. Бэлнепа «Риторика идеологического романа», вошедшей в сборник «Литература и общество в имперской России. 1800—1914» (издание Станфордского университета, 1978). Бэлнеп обращается к трудам Д. Лихачева, Л. Розенблюм, В. Ветловской.

Интересное и остроумное исследование Бэлнепа посвящено анализу тех средств, с помощью которых Достоевский опровергает теорию Великого инквизитора (и его создателя — Ивана) в «Братьях Карамазовых». В своем исследовании Бэлнеп остается верен одному из основных положений поэтики Достоевского (хотя и не цитирует его): «В поэзии нужна страсть, нужна **ваша идея**, и непременно указующий перст, страстно поднятый. Безразличие же и реальное воспроизведение действительности ровно ничего не стоит, а главное — ничего и не значит».

Надо сказать, что концепция «полифонизма», вернее, ее трактовка в пользу доказательства «дуализма» Достоевского встречает сейчас все большие возражения не только среди советских, но и среди зарубежных исследователей, что ярко засвидетельствовал прошлогодний симпозиум достоевсковедов в Бергамо.

НО ВСЕ ЖЕ очень часто еще западные исследователи, ссылаясь на Бахтина, продолжают твердить о пресловутой «двойственности» писателя, его этическом релятивизме, «неопределенной определенности» его конечных выводов. Я не имею здесь в виду даже такие крайности, как статья Ж. Катто, «наивно» недоумевающего: не на стороне ли Ставрогина Достоевский? Но вот серьезное, даже чересчур академичное исследование С. Сазерленда «Атеизм и отрицание бога. Современная философия и «Братья Карамазовы». Конечный вывод его выдержан в духе банального понимания того же самого релятивизма: правы у Достоевского в конечном итоге и Великий инквизитор, и Зосима (а как же тогда быть с такой мыслью писателя: «Инквизитор уж тем одним безнравствен, что в сердце его, в совести его могла ужиться идея о необходимости сожигать людей»?).

Отметим одну важную фразу в книге Сазерленда: «Иногда Достоевский как бы выставляет перед читателем зеркало, в котором тот видит лишь свои собственные представления...». Мысль ясна: читателю — и тем более исследователю — надо постараться убрать это зеркало, понять, что хочет сказать нам великий писатель, а не навязывать ему собственные идеи. Но нередко, увы, происходит обратное.

«Я НЕ ХОЧУ мыслить и жить иначе, как с верой, что все наши девяносто миллионов русских (или там сколько их народится) будут все, когда-нибудь, образованы, очеловечены и счастливы», — заявлял за несколько лет до смерти Достоевский. Казалось бы, ясно. Да и не знай мы этих строк, непреклонная вера Достоевского в счастливое будущее родного народа и всего человечества вряд ли вызывала бы сомнение у любого непредвзятого исследователя.

Но вот Р. Фриборн в главе о Достоевском, вошедшей в книгу о русских писателях прошлого и нынешнего веков, ничтоже сумняшеся утверждает, что взгляд Достоевского на будущее России и всего мира был скептичен и даже «дьявольски пессимистичен». Доказательства? А их нет. Пессимистичен, и все тут.

Впрочем, рассуждения Фриборна, основанные на порядком уже набившем оскомину сведении «основных тем» писателя — деньги, отцеубийство, надругательство над малолетней — к фактам его биографии (вплоть до объяснения выверенности композиционной и повествовательной планировки его произведений учебой в Инженерном училище!), не стоят особого внимания. Более серьезных возражений заслуживают другие исследования — такое, к примеру, как монография А. Герарда «Триумф романа. Диккенс, Достоевский, Фолкнер».

**Один из ключей к пониманию величия Достоевского заключается, полагает А. Герард, в том, что он «давал волю» «преступным фантазиям», а не подавлял их, как другие. В частности, в творчестве Достоевского постоянно присутствует «скрытая гомосексуальность». Вот, например, роман «Идиот». Противоестественная тяга существует между Мышкиным и Рогожиным (надо отметить, что во многих подобных «суждениях» Герард повторяет положения печально известной книги С. Лессера «Литература и подсознание» почти четвертьвековой давности, а также других западных авторов — Р. Хингли, Ф. О'Коннора и др.). Этой тяге препятствует Настасья Филипповна, когда же Парфен убивает ее, ничто уже не мешает соединению «влюбленных», но их насильно разлучают — Рогожина в Сибирь, Мышкина в сумасшедший дом. В своей трактовке «Преступления и наказания» Герард солидаризуется с другими американскими исследователями, У. Снодграсом и Э. Васиоленом: у Раскольникова, воспитывавшегося без отца, существовала скрытая тяга к матери и (более слабая) к сестре. Убив старуху-процентщицу и ее сестру, он избавляется от этого. Таким образом, добавляет Герард, истинным врагом Раскольникова является не общество, а любимые им мать и сестра, а в конечном итоге — он сам. Все остальные причины преступления — «рационализация».**

**А вот образец аргументации при анализе «Братьев Карамазовых». Иван при третьем свидании со Смердяковым пугается «белого чулка» лакея, из которого тот достает украденные при убийстве деньги. Ну, а у русской секты скопцов акт кастрации называется «убелением». Отсюда ясно: главный мотив убийства отца в романе — страх перед кастрацией...**

Не будем ханжески требовать наложения вето на любые попытки подобного анализа. Да и сам Герард не устает в конце каждого подобного пассажа добавлять, что возможны и иные объяснения (которых он, однако, не дает). Но тут необходимо непременно учитывать два момента.

«Человек не из одного какого-нибудь побуждения состоит, — писал Достоевский, — человек — целый мир, было бы только основное побуждение в нем благородно». Заслоняя благородную суть героев Достоевского, мучающихся отсутствием **мировой** гармонии, подсознательными комплексами, Герард непоправимо обедняет и искажает цельное понимание гениальных романов Достоевского.

И второе. Исследуя персонажей Достоевского с помощью приемов «психологии» (именно от такой «психологии» открещивался Федор Михайлович, говоря, что он не психолог, а «реалист в высшем смысле») как людей **больных**, с больной психикой, Герард — независимо от своих намерений — делает их характеры достоянием лишь клиницистики, а не человековедения в самом широком смысле этого слова.

Расправившись подобным образом с героями Достоевского, Герард принимается и за их создателя, в принципе, по его мнению, ничем от них не отличающегося и реализующего при их создании свои скрытые вожделения. Не буду здесь перечислять все, приведу лишь один пример. Постоянное внимание Достоевского к детям, мучительную боль за их страдания («пусть погибнем мы все, если спасение наше зависит... от замученного ребенка») Герард объясняет... скрытой педофилией писателя. Ну что ж, рецепт, как поступать с авторами подобных писаний, дал нам сам Федор Михайлович: оставим его «при его совести»...

ХАРАКТЕРНОЙ особенностью многих зарубежных литературоведческих работ остается пристальное внимание к мелким деталям композиции, сюжета, фабулы — при отсутствии попыток осмысления их, поиска объединяющих этот эмпирический материал выводов.

Такова книга канадской исследовательницы Н. Бабел Браун «Гюго и Достоевский». Увлечение фактами в ущерб их глубинному осмыслению приводит исследовательницу к весьма односторонним выводам: разница между двумя писателями видится ей в том, что Гюго — писатель социальный, а Достоевский — «психологический», то есть первый исследовал проблему «преступления и наказания» в обществе, а второй — в глубинах индивидуального сознания.

Но если Н. Бабел Браун все же стремится как-то обобщить и осмыслить накопленные ею факты, то У. Роу, сравнивая «Преступление и наказание» и «Братьев Карамазовых» в своей книге «Набоков и другие. Модели в русской литературе» (Мичиган, 1979), не делает даже этого. Совпадений в сюжетах обоих романов Достоевского он обнаруживает предостаточно: Раскольников наутро после убийства пугается своего окровавленного «левого носка» — «левый чулок» Смердякова приводит в ужас Ивана в сцене их последнего свидания; и Алена Ивановна, и Федор Карамазов — оба убиты троекратным ударом по голове после половины восьмого вечера, и т. д., и т. п. Но дальше Роу не идет, останавливаясь на самых дальних подступах к необъятному философскому содержанию обоих романов.

ЧИТАЯ многие из упомянутых здесь работ, никак не можешь избавиться от ощущения, что их авторам очень мешает... сам Достоевский. Вернее, мешает его творчество, никак не укладывающееся в прокрустово ложе антисоветизма и фрейдистских построений, не сводящееся к скрупулезному подсчету количества появлений слова «носок» на его страницах.

В работах о Достоевском уже не раз перефразируется известное положение из его Пушкинской речи: он оставил нам тайну, которую исследователи всего мира сообща разгадывают. Но при этом чулок Смердякова (бесспорно, как и каждая деталь в художественном мире Достоевского, имеющий свое назначение) не должен загораживать грандиозное гуманистическое содержание гениальных романов писателя. В принципе же все пути исследования здесь не закрыты, кроме одного: подхода к наследию классика русской литературы не с любовью и уважением, а с целью использовать его в собственных, далеких от науки планах. Однако вред, причиняемый подобными попытками, переоценивать не стоит. Сквозь воинственный тон просвечивает у их авторов неуверенность в справедливости собственного дела. Позволю себе предположить, что где-то в глубине души должен быть у них страх, сродни тому, которым пронизана финальная сцена пушкинского «Каменного гостя». Они боятся Федора Михайловича Достоевского, способного и спустя сто лет после своей смерти уличить их во лжи.

28 ОКТ 1981
ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА
г. МОСКВА